

Игорь Шестков "Алконост"

Слесарь Володя Ширяев покончил с собой. Выстрелил в рот из самопала. В Тропаревском лесу. Недалеко от тамошнего прудика. Среди березок и осинок. Ширяев не скрывал то, что хочет убить себя. Показывал собственноручно выточенное дуло. Тяжелое, граненое, как у старинных револьверов.

Изготавливал его Ширяев почти год. Не торопясь работал. Без истерики.

Решение свое он вынашивал долго, чуть ли ни с детства. Иногда обсуждал со мной подробности. Раздражался. Как будто я виноват в том, что его жизнь не удалась. У кого она удалась?

Мечтал он уйти из жизни в тихий весенний день, когда зазеленеют первые листочки, и теплый ветерок прогонит наконец бесконечную московскую холодрыгу. Под шелест листвы и пение птиц.

Я ему не верил. Думал, дурачится. Кокетничает. А самопал мастерит просто так, из озорства. Или на продажу.

Я был тогда молод. Боялся думать о смерти, даже радовался втайне, когда умирал кто-то другой. Раз рядом ударило, то может и в следующий раз пронесет... .

Когда он умер, я не обрадовался. Ширяев был единственным человеком в нашем институте, с которым можно было о живописи поболтать. Полезные советы он мне давал. Где купить бумагу, ленинградскую акварель или как положить на дерево сусальное золото...

О его смерти мне сообщил шеф наших мастерских, Козодоев. Позвонил, попросил зайти в свой кабинет. Так он называл маленькую комнатку, отделенную от зала со станками тонкой стенкой, в которой поблескивало предательское окошко с синенькой занавесочкой в белый горошек. Через него он надзирал над своим хозяйством. Отодвигал занавесочку... Если на них не смотреть, утверждал Козодоев, потирая крупный угреватый нос, они вообще ничего делать не будут, только пить и тырить... А к вечеру передерутся... Со смертельным исходом.

Захожу к нему, спрашиваю, зачем позвал. Козодоев закашлялся. Как будто

пудель залаял.

«Ты понимаешь, какая штука паршивая получилась, шут этот гороховый, художник, Володька хромой... Застрелился вчера...»

Тут забросили мне в голову стальной кубик. А воздух перестал всасываться в легкие, превратился в клейкую вату...

«Ну ты че? Одурел? Утри слюни и слушай. Хромой в лесопарке застрелился. Череп ему разворотило. Самопал рядом валялся. Гоняли меня на опознанку. Бывшей жены его, Верки, телефон не нашли. Говорят, она в Питер подалась. Чтобы своего Саврасова больше не видеть... Грачи прилетели, бя! И больше никогда не улетят. Фамилию сменила. Жены нет, никого нет. Козодоев, как всегда, всех коз один доить должен... Да... Мастер он был хороший. Трудно будет замену найти. Молодые не умеют ничего. Левша. Самопал сделал – хоть в музей носи. Менты забрали. Что с ним случилось?»

«Мало ли что. Все люди – темный лес. Жалко Володю. Пил по-черному. А рисовал хорошо. Душа, видно, страдала...»

«Душа-душа! Нет у человека души по Марксу. Только тело да классовая борьба... Хромой что-то вроде дневника оставил. Писатель, бя... Ящик его взломали. Наши. Рабочая косточка... Еще вечером. Даже казенные напильники и натфили унесли. Банку сорокалитровую с соляжкой – и ту уперли. Как узнали, не пойму. Штангеля утащили, а тетрадку не тронули, на х.й она кому сдалась, душа твоя... Во, смотри. Я тут полистал, некогда мне эту белиберду читать, забирай тетрадку, выброси или сожги... Не показывай никому, а то до ментов дойдет... Или до пиджаков... Я так понимаю, хочешь стреляться – стреляйся, а других не марай, у нас жизнь тоже не малина... А то слушок пошел... Будто Володька не для себя самопал хитил. Ты, Димыч, мне как старшему товарищу скажи, ты с Ширяевым никаких таких, особенных, дел не имел? Может, затевали что? Мне твоего слова достаточно, я людей знаю... Может, кого другого завалить хотели? Там Ленинский близко. Правительственная трасса...»

Козодоев пристально посмотрел на меня своими пустыми сероголубыми глазами. Напрягся. На его коже у висков проступила розово-голубая жабья сетка. Кто-то из наших рассказывал мне, что Козодоев был в прошлом чекистским палачом. Ходил слух, что он на расстрельном «полигоне» в Зотово

кого-то шлепнул, из известных, чуть ли не самого генерала Джанковского, того самого, бывшего шефа отдельного корпуса жандармов, помогшего железному Феликсу организовать ВЧК... До полутысячи человек будто бы в день расстреливали. Семьями...

«Каких таких, особенных, дел? Завалить? На Ленинском? Николай Палыч, иди ты на хер! Я с ним о живописи говорил, два раза он для меня образцы вытачивал по чертежам, по разрядке, которую вы же и подписывали... Говорят, его жена домой не пускала...»

«Не пускала? А ты слышал, что он ее костью по роже хватанул? Чуть не прибил. Она его тогда пожалела... А сама до сих пор с косою мордой ходит. Ладно, свободен... Художники, блин...»

Я сел на лабораторский диван и открыл ширяевскую тетрадку. От нее осталась только потертая выгоревшая обложка. В нее он вкладывал листочки разного формата. Хотел, видно, автобиографию оставить. Но сбился. Писал, наверно, бухой...

Записи Ширяева:

Отец погиб после войны. Мать прижимала палец к губам. Шептала: «Молчи, Володенька. Твой папа служил в НКВД. Его убили враги народа. При исполнении специального задания. Детей он спасал. От изуверов».

Доставала из шкафа обувную картонку, в которой лежали фотографии, сломанные часы с крохотным компасом на потертom кожаном браслете, серебряный орден Красной Звезды с отбитой рубиновой эмалью на правом верхнем луче, старая отцовская рубашка и несколько патронов от пистолета ТТ. Мать часами разглядывала фотографии, гладила орден и часы, перебирала как четки длинными пальцами патроны, а рубашку прижимала к груди. Нюхала ее и плакала...

Я глядел на патроны, на их красноватые, стальные, мягко закругленные пульки. От этих закруглений у меня чесалось под коленками. Я думал, что когда-нибудь

враги народа выстрелят в меня из пистолета ТТ и убьют. И положат меня в землю. К отцу.

Хромать я начал еще до школы. Матери сказали, что у меня развивается болезнь Пертеса. Я это иностранное имя выговорить не мог. В больницу меня положили. На ночь специальный протез надевали. Резали два раза, чистили что-то в костях. Долго-долго лежать пришлось. О чем я только тогда не думал. Больше всего меня одна мысль мучила – почему другие ребята по двору бегают, смеются, играют, а я должен в кровати лежать. Кто так придумал, что жизнь несправедливая? Все мое тело от боли ныло, в костях злой старик сидел и маленькой пилочкой пилил. Единственная радость для меня была – порисовать. Мать мне бумагу давала. Я любил танки рисовать. И самолеты. Целые сражения разыгрывал. И старика с пилой тоже рисовал. Как его Чапаев танком давит... В школу на два года позже других пошел. Самый низкий был в классе. От физкультуры меня освободили. Потом заросла кость. А лет в тридцать опять началось. Болит и дергает. На рентген гоняли. Асептический некроз определили. АНГБК. На фоне злоупотребления алкоголем. Резали. А через три месяца сказали – не помогла операция...

С побуревшей фотографии смотрел чубастый парень в офицерской гимнастерке – отец. Насупленный такой. Серьезный. Карманы оттопыренные, пуговицы со звездами. Кобура на поясе. Полосочки на погонах. И на рукавах. Запомнила мать эти голубые полосочки. Говорила – отец частенько с работы приходил с красными рукавами. Мать их терла, терла. Потом сушила, гладила. Не хотели канты голубенькими становиться...

Ах, как хрипеть хочется! Целый день старик кости пилит! Всю комнату сегодня разнес. В прах. И соседям досталось. Участковый приходил. Кононов. Стращал тюрюгой. Говорил – пора тебе к уркам, они тебе очко намылят... Я только хрипел. Пена из пасти шла... Участковый дуровозку вызвал. А там доктор Левинсон. Старый знакомый. Вколол обезболивающее и уехал. Кононов обозлился. Воблий глаз...

Верка разревелась. Стоном стонала. Почему не женишься? Мать ее заела. Галина Вячеславовна. Старая манда. Банка с огурцами. Ведьмачья душа. Пищит-трещит. А в глазах – игла кощеева. Сталина, говорит, на вас нет. Сталина почитает. Только не молится ему. Портретик на кухне повесила. Шепчет ему что-то. Я два раза снимал и выбрасывал, а она опять покупала и вешала. Мне назло. На Курском вокзале еврей продает. Рядом с ателье. Раньше вишенками торговал. А теперь Сталиным торгует.

Ситыч опять подкатывался. Раскисший, дряблый. Если его не ударить, не отвяжется. Пришел, спросил, есть ли у меня олово. Я дал ему баночку с отдачей. А он заегозил – Володечка, хроменький, хочешь растаять? Как олово? Я буду твоим паяльником. Приходи к нам, к саваофу Андрюшеньке на раденье. Попрыгаем, поскачем вокруг девяти углов. Попробуешь темного мужского меду. Станешь лучиком, лучиком живым... Ситыч думает – если я не хрякнул его монтировкой по черепу – можно мне любые гадости говорить. Что за народ. Ты не бойся, убеждал, мы нежные... Там, под срачкой, железа убистая, кончишь быстрее Христа-Ивана. Я монтировку поднял, он ушел. Не понимаю ничего. Ситыч женат, девка у него и парень. К Андрюшеньке... Или он от скуки бесится? Или прикалывается.

Еще говорил – человек помер, а душа вытягивается из тела. Как макаронина... Отрывается и летит... А чтобы грехи на земле оставить, надо под самого Христа лечь. А оставленное тело будто к Сатане в поры падает. В сальные вулканы. Мертвец тонет в кипящем сатанинском жире. И растворяется в нем, как в кислоте... п.доровы басни.

Политинформация сегодня была. Эстонец-Красный проводил. Помянем, говорил, верного ленинца, борца за то, за се, за хер знает что, Михаила Андреевича Суслова. Личная скромность этого выдающегося партийного деятеля... Да блевал я на его личную скромность... Спирохета бледная... Мне от этой его иделогии одна грязная стружка досталась. Тронешь ее рукой – без глаза останешься. Потом Маринка сливки разливала. Вот ведь вошь квадратная! В крысиной норе сыр ищет. Ситыч мне рожи строил, зазывал. А Драч встал и

ушел. Его спросили – ты куда? А он громко так сказал – а поссать можно рабочему человеку?

О пружине думал. Так она в у меня в мозгу изгибалась и разгибалась, что я головой качать начал. И языком цокать. Как будто курок оттягиваю и отпускаю... А потом захрипел... Зашипели на меня. Парторг Порзов. Глаза выпучил как водолаз. Погоди, придешь ко мне в следующий раз дрель просить... Будешь яйцами в стенке ковырять...

Тосковал я об отце. Сочинял истории для дружков. Будто бы отец был главный советский разведчик. Вызывает его маршал Рокоссовский и говорит: «Не могут наши взять Берлин, нет у них карты с военными тайнами!»

Отец прилетел в Берлин. Переоделся в немецкую форму. Пошел к Гитлеру... И сказал: «Давай карту. Нужна для обороны от Красной армии».

Врал я, врал, и сам своему вранью верил... Даже Верке про отца-разведчика рассказывал. Загибал, что без той карты не взяли бы наши Берлин. И про то, что отец Гитлера убил. И в землю закопал. И надпись написал...

Не хотела мать калеку расстраивать. Не было ни детей, ни спецоперации. Свои отца и расстреляли. Справка о реабилитации в ее бумагах лежала...

Тяжко! Суслов-смерть кости пилит, и душу сосет. Где теперь мои друзья?

Половина уже в земле. Остальные – вон, у продмага, как олени пасутся. Пятачки шибают на бутылку.

Верка сделала аборт. Я ее отговаривал, а сам радовался. Хриплый ноль. Как жить? Сыночек мой, прости меня. Не вини мать, она слабая. Может, Бог спас тебя от меня? Я бы измучил тебя, перегрыз бы твое белое горло. Лакал бы кровавую пену...

Приходил Драч. Про свою бабу рассказывал. Которая на двадцать лет его старше. С грязными ногами ходила. Не могла старуха ни мыться, ни ногти стричь на ногах. А он брезговал. Ногти в мясо впились. Умерла она два года назад. Драч говорил, умерла она ночью. А он спал. Проснулся, а рядом покойница. Рот открыт. Зубы черные. А на левом глазе таракан. Прямо на зрачке. Вроде пьет. Усами туда-сюда поводит. Драч психанул, лицо прикрыл ей,

ноги развел и шишку вхреначил. Но есть не смог. Добрая была старуха. Кормила его.

Со смертью матери кончилось мое спокойное житье. Квартиру нашу забрал завод. Школу бросить пришлось. Определили меня в ремеслуху, дали место в общежитии. Как сироте.

Пробовали меня там на зуб товарищи. Колобок и Слюня, два главных хулигана. Колобок спереди подходил. А Слюня сзади с фонарем подкрадывался. Колобок духарился, пары пускал. За руки хватал. Слюня сзади на спине кожу резал. Прямо через рубашку или пальто. Хорошо, у меня в руке клюка была. Получил от меня Колобок подарок – прямо в носопырку, а Слюне по уху попало.

Помирились после.

Убили их потом. Не на того налетели. На Авиамоторной. Начали свой номер с одним проворачивать. Как только Слюня фонарь вытащил, к ним дружки подскочили. С Синички парни. Повалили Колобка и Слюню на землю и забили ногами до смерти.

Через три года я училище закончил, по специальности слесарь-ремонтник авиационных двигателей. Всех пацанов в армию отправили. А меня не взяли. Из общежития выселяться надо. Куда идти? Ебимороз...

Устроился я тогда на подземный завод. Двигатели для ракет делали. В Лужниках. Тут в футбол играют, плаванье, физкультура. И не знает никто, что рядом – завод подземный. Побольше стадиона. Люди там маются, как кроты. Слепнут в темноте от неонки...

Жил, как лимита, в заводской общежитии. Через пять лет уволился с завода. В мастерские меня взяли. При институте. Палыч помог.

Тут хоть окна открывают. И плана нет. А на заводе план из людей как из ковра пыль выколачивали... Чтоб они сгорели все...

Вот Ленин. Освободил рабочего человека от капиталистов, а крестьянина от помещика. А Усатый маленько перебрал. Хрущ вообще дурик – кукурузу за полярным кругом выращивать собрался. Жиртрест. Жирные, они всегда вонючие и глупые. И гонимые. Напарник был у меня еще в училище –

Филькин. Фамилия, вроде нормальная, русская, а на лицо хохол или румын. Как персик рожа круглая. Носище. А глазки пороссячьи, недобрые. И прыщи на морде. Его ребята дразнили: «Фарнос красный нос, понюхай... У свиньи под брюхом...» Ладочки потные о халат вытирал. Станок за собой никогда не чистил. Мастер меня ругал. Ты старший, ты должен на напарника воздействовать. Я воздействовал. Руку один раз ему завернул. Понюхал Фарнос и Колобка с Слюней. Поймали они его в туалете. Визг стоял, как на бойне. Всю жирную его спину Слюня изрезал. Фарнос неделю в больнице лежал, а затем ушел из училища. А Слюне чуть срок не дали. Выручил его директор.

Подмаслил кого надо.

И вот недавно встретил я Филькина на Кузнецком. Сразу заметил – Фарнос пиджаком заделался. Одет прилично. Фельдиперс. Узнал, поздоровались, поговорили. Сказал мне, что в МИДе работает. А я не скрыл, что слесарь. Посмотрел он на меня как на собачье говно и сплюнул. Я захрипел... Разняли нас.

Под землей душно. Вонь. Гнилые корни, мыши, черви и кроты. Все потеет и срет.

Там в гробу, труп матери лежит. На Кунцевском кладбище. Кости наверно остались, волосы, ногти...

Мать умерла, когда я в восьмом классе учился. Неожиданно. Не болела, не жаловалась. Приготовила обед. Кислые щи и жареную картошку. Присела на кухне на минутку отдохнуть. И больше не встала. Так и осталась сидеть на стуле. Голову уронила на руки. Врачи после сказали – разрыв аорты. Я в это время футбол по телевизору смотрел. Звал ее: «Ма, иди, пенку будут пробивать! Ну иди! Галимзян Хусаинов бьет!»

Мать не приходила. А я, чтобы лучше пенальти рассмотреть, глаза почти вплотную к водяной лупе приблизил, обнял наш КВН обеими руками и чуть не сбросил его с тумбочки, когда вратарь парировал... Лучи перед глазами крошились... Пошел в кухню маме рассказать, а она мертвая сидит.

Я вот чего понять не могу. Почему евреям можно уезжать, а нам, русским, нельзя? Почему несправедливость такая? За них все горой стоят. Парламенты. Комиссии всякие. Все только и смотрят – как бы жида не обидели. Они за золотым тельцом и в Америку и в Израиль и даже в Южную Африку, к расистам, едут. Греки едут в Грецию. Немцы в ФРГ. Паршивые корейцы в Корею. А русский Ванька что, в заперти должен сидеть? За что? И никто за него не заступится.

Почему у нас в лифте, на какую кнопку ни нажми – лифт на третий этаж едет. Сколько просили, жаловались. Ни ***, деревня...

Еврей еврея продвигает. Бабка за дедку. А русский с русского три шкуры спустит. И обосрет ближнего с ног до головы. Несчастливая наша нация. Нету в нас к себе уважения. Вот, даже в космос с нашим русаком чеха запустили, Ремека. На нашу станцию. Зачем он там нужен, сучонок чешский? Я так понимаю. Если ты чех – живи у себя в Чехословакии и на своих ракетах летай, жмотина. Что они все к нам едут? Целый университет для них. Патрис Лумумба. Рассказывал недавно Драч. Пришел оттуда негр в ресторан на Ленинском. В новой высотке. За столик сел, как человек, официанта не спросил. Заказал что-то. Ему принесли. Он сожрал. Потом встал и за другой столик сел. А там русская девушка. Стал негр к ней приставать. И так и сяк. За грудь ее лапнул. Целоваться полез своими губищами. Она простая такая девочка, застенялась, покраснелась... Не знает, что делать. А все это американец видел. Встал, к негру подошел, и хрясь его по черной моське. Тот на пол упал. А американец ему еще по почкам врезал. И по еблищу. Чтобы не выёбывался...

Ходил в музей. Пушкинский. Видел там одну картинку, душу она мне обрадовала. И ведь нет на ней ничего такого... Ни красок французских, ни красот итальянских. Так себе – пейзаж зимний. Хаты стоят, наверно голландские. Церковь простая, но не наша, из мягких форм, а как бы граненая, европейская... Речушка замерзла. На ней ребятишки на коньках восторносых гоняют. Деревья голые, одни веточки, как длинные пальчики. На них галки сидят. Или вороны. Не разобрал. В туманном небе две утки летят. Но не утки меня проняли, а тишина и покой. Мир. Ладно там все. И дома и деревья и люди – все друг с

другом согласные. Зла там нет. А добро не сладкое. Морозное. Свежее. Постоял, посмотрел... А все-таки не хватает чего-то. Русской тоски не хватает. Я люблю, чтоб картина слезу прошибала или, чтобы в пот от нее бросало. Вот Саврасов. Тот русскую душу понимал. Или Суриков. Снег-тоска.

С Веркой у нас сначала все путем было. Расписались. Выделили нам комнату как семейным. Верка там уюты развела. Телевизор купили. Слоников. Шторы повесили. А в остальной квартире срач! Двенадцать человек на сорок три квадратных метра. Людишки наши, заводские. Один был страшный. Звали его Софон Пастин. Язва. Как пьявка впивался. Как меня дома нет к Верке лез. Я прихожу со смены, а она заплаканная сидит. Я с ним и говорил. И бил его несколько раз. И бить-то его противно. Врежешь ему по рылу, он окровавится и на колени встает, причитает. Убей, кричит, меня, убей, Вова-свет, жить мне противно, сам я себе противен, убей, освободи мир от меня... Шестьдесят два года, старик, видишь, седой. А как увижу молодуху, кровь вспенивается... Извинялся. Пить зазывал. Надоумил меня самопал сделать. Ты, говорит, Володя, рукастый, сделай мне самопал... Отдам тебе припрятанные пятьсот рублей. Всю жизнь копил. Маланья о них не знает, дети не знают, всегда с собой ношу. Делай в тайне. А то заложат тебя как травку кирпичами... Сталь найди крепкую. Поблагороднее. У лопастиков попроси болванку. За двести грамм чистого они тебе весь вентилятор приволокнут. В литейном можно дуру вылить. А дальше точи... Маслят на Птичьем купим. Есть кадр один... А когда сделаешь, дашь мне. Пущу себе пулю в лоб. Вот тебе крест.

Так он пел, пескарь брюхатый. А к Верке опять пристал. Избил я его после этого до полусмерти. И напился. Повязали меня. Дали год. Вторая судимость. А Верка к своей мамаше жить ушла. Я вернулся, а жены нет. И Пастина нет. Его в цеху пришибло. И вот ведь случай как сыграл – сорокакилограммовая лопасть ему башку расклинила. Как будто кто огромным ножом резанул по кумполу и до брюха... Срыгнул кровянку дед Софон.

Верка вернулась. А после опять убежала. Какой я муж...

В цирк ходил. На Вернадского. Профком билет прислал. Оторвался. Принял на грудь для согреву. Не так много, чтобы на тигров и львов броситься. Но достаточно для того, чтобы с инопланетянами разговаривать. Я и разговаривал. Вначале жонглеры-тарелочники набежали. В красных трико с перьями-хвостами. Не люблю жонглеров. Жонглируют, жонглируют... До тошноты. Тарелки кидают. И пять и десять и черт знает сколько. Рядом сидел странный такой. С собачей головой. В лапах куриных, почему-то вилку держал. И нож. Серебряный прибор. А на коленях тарелочку. И аккуратно так с нее мормышку кушал.

Жаловался: «Этот номер, кхе, кхе, сатирический. Против нас направленный. Вот мы, мол, вас как. Вы к нам прилетели, а мы вас и на шпаге крутим и на носу носим и под купол цирка легонько подбрасываем... Ты, Володя, на своем крюке тарелочки не крутишь? В свободное время...»

Спросил, заплакал и опаловую слезу на тарелку уронил. А слеза эта прожгла тарелку и на пол упала. Как камешек. И за сиденья закатилась. Пытался я достать ее костылем. Пыхтел, пыхтел, ничего не вышло... Видно ее утка-подколенница склевала... Аппетит у нее в последнее время разгулялся!

Потом на манеж белые кони ворвались. И казак Запашной с хлыстом в руках вышел. В белых сапогах вышел с отворотами и золотыми коронами по самое не могу. Как же они хрустели! Как у прапорщика скулы, когда он кукурузу жрет. И пуговицы на гимнастерке мягкими пальчиками крутит...

Сапоги хрустят, кони белые по манежу мчатся, собакоголовый мормышку ест... Я говорю ему: «Ты, Белка-Стрелка, червя бы лучше взял, артемию жаброногую или мохнатоусого дергуна... Все лучше чем латунь и железки лузгать...»

А он отвечает: «Я – вегетарианец. Потомственный и почетный. ученик Шивананды. Слыхал?»

«А что твоя Шиговнанда говорит, к примеру, о водяре?»

Ничего поганец не ответил, только залаял, хвостом заюлил, лизнул меня в губы вонючим языком, и убежал...

После коней на манеж клоун вышел. С кошкой. Задавал ей вопросы о Мао Цзедуне. А она подробно так отвечала. Жалко, говорила по-китайски. Ничего не понял. Крикнул я тут, так громко как мог: «Ты, котиха жирная, по-русски давай.

На х.й Мао, ты Расскажи нам, почему мы с острова Даманский ушли?»

Тут ко мне бобры подлетели. С красными крыльями. Как бабочки. Под руки меня – и под купол цирка подняли, на трапецию поставили. Стою я там, вниз гляжу, на манеж, на людей... А вокруг меня воздушные гимнасты. Не летают, не прыгают, только воздушные поцелуи раздают. Вот, думаю, допрыгался, надо публике номер показать. Чтобы задрожали и заплакали. Надо сорвать аплодисмент...

Положу граненое дуло на мореное дерево. Патрон можно будет в него как в трубку вкладывать. Конструкцию упрощает. Курок с бойком оттяну большим пальцем и отпущу просто. Пружину можно в рукоятке спрятать. Никаких спусковых крючков не надо. Не очень удобно, конечно, но не для войны я самопал делаю, а для прекращения глупой моей жизни. Потренироваться, жалко, не смогу. Только четыре патрона у меня. Как бы дуло не разнесло. Надо его покороче сделать. Сантиметров восемь хватит. А вот нарезочку нелегко сотворить. Ладно, пусть будет гладкоствол. Лишь бы в височной кости пуля не застряла.

Приезжаю я отдыхать. В пансионат, что ли. В нем коридор длинный. Вхожу в комнату. Ух, большая. И пустая. Ни шкафа, ни койки. По всем стенам – зеркала. Взгляд в ломаную бесконечность улетает. А на потолке много-много ангелов нарисовано. Да так ловко, не поймешь – ангелы это или картина. Церковь что ли? Слышу не то стон, не то курлыканье... Вижу – на другом конце комнаты, у окна, мальчик-инвалид лежит. Голый. И курлычет. Подхожу к нему. Хочу по головке погладить. А он ко мне на руки тянется. Беру его. Он меня за шею обнимает. И плачет. Хочу я его куда-то нести. И случайно в зеркало поглядел. Вместо себя огромную обезьяну увидел. Испугался, сбросил мальчишку. А он как макака, прыжками, от меня убежал. А на руках у меня вроде кровь. Жирная как нефть. Я руки об зеркало вытер... Загнал в палец стеклянную занозу. Захожу опять в какую-то комнату. Знаю – жить тут придется. Грустно мне поэтому. Потому что коек в комнате очень много. И народу порядочно. И все слепые. С бельмами. Кричат что-то. Руками размахивают. Сажусь я на койку, а

меня слепой – цап за воротник! Кричит – занято! А другой меня – по губе. А третий – ногтями грязными в глаза. Бью я слепых палкой, бью, а не попадаю. А они пинают меня то в бок, то в пах. Как пчелы налипли... Снимаю я тут огромные, с метр, наручные часы и начинаю их часами бить... Часы у меня из рук выскальзывают, на пол падают и долго-долго по кафельному полу скользят. И подпрыгивают на швах. И все слепые, как замороженные, прислушиваются. Тук-тук-тук... А заноза зудит...

Иду я по дороге в лесу. Иду, иду, дрожу. Вспоминаю мучительно, где же я живу, но вспомнить не могу. Мозги трещат. Куда идти? Кто я такой? Забыл! Все забыл, ничего не знаю.

Ездили мы капусту убирать. На автобусе. В можайский район. Далекое. Весь день катались. На поле часа четыре карячились. Снежком сеяло прилично. Кочаны тяжелые, скользкие. Сочная капустка уродилась. На зубах хрустит, белым соком прыскает. Наши бабы их и поднять не могли. Двадцать килограмм кочан! Намерзлись. В туалет не сходишь. Полю ни конца ни края. У меня кости разболелись. Хоть падай. В теплом автобусе жизнь раем показалась. Начали тут все курить. А я не курящий. В задок пошло. Окна открыли. Толян спирт достал. Спирт есть, капуста есть, стаканы есть и белый хлеб. Все остальное еще на поле срубали. А воды нет, спирт разбавить. У Привыкина литр молока был с собой. Налили мы молоко в трехлитровую банку и туда же литр спирта. Ну и гадня получилась – белесая, грязная. Комья вроде творога в ней плавают. Как ее пить? Белый хлеб в это пойло макали и ели. И я попробовал. На втором куске проняло. Закусывали капусткой. Ядохимикат!

Где-то у Можая Сидорова песню затянула. А за ней и другие бабы. Зачем вы девушки красивых любите... Непостоянная у них любовь... А у Зои Ситыч с Перепелкиным сшиблись. Я к тому времени уже лыка не вязал. Мне сон снился про уральские горы. Будто я там камень нашел большой. Желтый, прозрачный. Проснулся я, а камня нет. Захрипел с досады... Сломал Перепелкин Ситычу передний зуб. Ситыч после фикса показывал.

Мозги сегодня весь день одна мыслишка сверлила. Может испытать...
Участкового продырявить или Димыча. Освобожу мир от этой жопоморды.
Придет он ко мне в мастерскую, скворцом зачирикает. О том, о сем. А я ему так
отвечу – заткнись, жид жирный. У русского человека от одного твоего вида
харкотина в глотку бежит. Так тебе в рожу плюнуть хочется. Он обомлеет.
Обидится. На толстых его губках обида затрясется... А я железной рукой свой
самопал из кармана вытащу и ему в его жидовский глаз и пальну.
Или, придет ко мне Ситыч. Начнет приставать. Заглядывать застенчиво.
Обласкивать, обскакивать как козел. Скажу я ему – ладно Ситыч, согласный я,
снимай штаны, смазывай очко. Выдрючу наперед тебя. А после и сам жопу
подставлю. Обрадуется он, сраку откроет, а я ему туда семь свинцовых
миллиметров захуярю. Чтобы через все тело пуля прошла и в языке его
бескостном застряла...
Или Верку найти и постращать ее, подлюгу?
Вера, Верочка, где ты, моя голубка? Тошно мне без тебя. Пропаду.

Было мне сегодня видение. Открыл я утром глаза. А на стуле у моего стола баба
Акулина сидит. Фотографии разглядывает. Из баночки леденцы таскает. Вместо
того, чтобы сосать, грызет их как семечки. Посмотрела на меня и сказал:
«Кончай представление, внучек. Прыгай!»
А я как будто опять на той трапеции стою. Ну в цирке.
Вдохнул я и прыгнул вниз головой. И вот, лежу я в ручейке. Омывает меня
прохладная водичка. Кровь от меня полосочкой змеится... Сказочные деревья
склонились надо мной – веточками колышут золотыми, листиками серебряными
шуршат. Смотрю я на деревья сквозь мертвые глаза и радуюсь. И вижу в лучах
хрустальных птицу Алконост. Спускается ко мне чудесная птица и обнимает
меня нежными руками и стеклянными крыльями. Кладет головку свою мне на
грудь...